Андрей РАСТОРГУЕВ

ВЕТКА ВЕЧНОСТИ

Мудрая память о XX веке и живая русская речь делают поэта Нину Буйносову современной народной сказительницей

Буйносова Н.И. Студёный день: стихи и проза. – Екатеринбург: Издательский дом «мАрАфон», 2010.

Приобщившись во студенчестве к молодёжному фольклорному движению, вместе со своими друзьями я был уверен, что доживающие свой век по скудеющим деревням бабушки – последние, кто хранит русские народные песни и обычаи. И без малого тридцать лет ничто этой уверенности особо не нарушало – пока в феврале 2010 года в Каменске-Уральском не вышла книга Нины Буйносовой «Студёный день».

Проза жизни

Чуть было не написал – «в её родном Каменске-Уральском». Но горожанкой Нина Буйносова стала, когда оказалась в школе-интернате, а потом выучилась в техническом училище на настройщицу радиоаппаратуры. А ещё немного погодя в 1969 году ушла в журналистику.

Именно журналистские, очерковые нотки подчас проступают в открывающих книгу семейных хрониках «Шабаевско поле». Однако уже здесь во всей своей полноте предстаёт и прекрасная русская родовая речь подкаменских деревень, в одной из которых – под незатейливым названием Брод – автор появилась на свет за полтора месяца до Победы. Речь настолько коренная, что устояла даже перед долгой газетчиной.

Самые светлые картины этой хроники связаны с жизнью у прародителей – бабушки Марии и дедушки Семёна в деревне Черемисской, в доме, где «по широким половицам, дожелта надраенным речным песочком, плотно-плотно настелены яркие, будто только что из укладки, половики…». Всего-то вещной памяти и осталось теперь у автора от той жизни, что красная, в клеточку домотканая

скатёрка, на которую она девочкой то и дело умудрялась «обронить сбежавшую с горячей шаньги крупную жёлтую каплю» домашней сметаны, за что немедленно получала от деда по лбу деревянной ложкой.

Сравнительным достатком дед и бабушка обязаны были исключительно собственному труду, что упасло их – и то едва-едва – от раскулачивания. А от финской и Отечественной, как, похоже, и от гражданской, дед уберёгся лишь тем, что оставил своё здоровье в окопах и германском плену ещё той, первой мировой. Саму же Нину с её двумя сёстрами и братом работавшая школьной сторожихой мать подымала одна – муж пропал на фронте без вести. Да ещё и ту же самую бабушку в конце концов содержать пришлось, ибо пенсий колхозникам тогда не платили. И, умирая, она всего-то и просила, что отведать напоследок мягкой шанежки, которую матери пришлось выпросить у буфетчицы в заводской столовой, ибо хлеб в 1963 году по всей стране выдавали в обрез и по спискам…

Переписывать-пересказывать эту часть хроник, однако, нужды нет – как и другую, что рассказывает о более глубоких корнях и далёких ветках рода донских казаков, что были сосланы на берега Исети после Пугачёвского бунта. И о том, как всё дальше отходили эти ветки от земли, от родового поля. Читатель, за последние двадцать лет мало-мальски познакомившийся с отечественной историей XX века, и заочно может представить, через что прошел этот род. Но представить – это прежде всего умом, а чтобы сердцем прочувствовать – для этого нужен «Студёный день».

Красно пёрышко

Продолжением хроник и в то же время абсолютно самостоятельным творением предстают «Сказки-побаски бабушки Марии». Они-то непривычно для меня и продляют ту самую прерванную вроде бы фольклорную традицию от доколхозных 1920-х до первых послевоенных лет, когда в уральских деревнях «долгими зимними вечерами единственным доступным развлечением… всё еще оставались устные сказки». И то ли напрасно-таки иронизируют люди над мимолётной девичьей памятью, то ли по яркости своей эти сказки так в неё впечатались, а светятся они совсем как восиясно красно пёрышко, что помогало одной из героинь рукодельничать и счастье заслуженное отыскать. Тут тебе и смешливая сказка про окуту с того

света, и грустная про дудочку, и бывальщина про колдунью, и побаски мудрые про глупых родителей, про суседушка-буканушка – домового то бишь, да «сродственника» его по прозванью Коси-Нога.

Примеров, когда те или иные писательницы примеряют на себя платок Арины Родионовны или бабы-сказочницы из кинофильмов Александра Роу, по-прежнему немало. Однако Нина Буйносова этого ряжения как раз избегает, оставаясь в роли той самой «не по возрасту маленькой, худющей до черноты под глазами» вечно мёрзнущей девочки, которая залезала на печь и, прижимаясь прямо к калёным кирпичам, просила у бабушки сказку. Да и сама бабушка явно не только на слух свои побаски перенимала, а и книжной премудрости обучена была, так что девочка эта и Пушкина, и Кольцова услышала впервые из бабушкиных уст. И что уста не делали сносок на первоисточники, вряд ли можно считать особым грехом.

Впрочем, явные цитаты из классиков, как и новые воспоминания о детстве, автор оставляет для своего собственного рассказа, которым оплетает записанные по памяти бабушкины тексты. И делает это настолько искусно, таким свежим и сочным русским языком, что, на мой взгляд, невольно и сама становится сказительницей – не лубочной, а самой естественной.

«В одной деревне жили-были мужик да баба. И было у них три дочери. Старши-то ленивиньки были – ни грядки выполоть, ни избы подмести. Все им лень да неохота. А младшинька дочушка – Овдотьюшка – така хлопотунья, така старательница…» Это – зачин у бабушки.

«Зимы послевоенного детства моего были буранные. В самые морозы снег от окошек не отгребали – для тепла, и избёнки… порой заносило до самых бровей, так что внутри и средь бела дня стоял голубоватый полумрак…» Это – внучкин запев. И, вспоминая прежнюю свою уверенность в обрыве традиции, начинаешь спрашивать сам себя: а, может быть, эта роль вечна, это место настолько свято, что не бывает пустым никогда?

То ли современность сказительницы, то ли её собственный замысел – а, может, и всё это вместе – подчас наводят на самые неожиданные ассоциации. Вспоминает автор о картофельных печёнках – круглых ломтиках картошки, подсоленных и поджаренных на печке-буржуйке, а до тебя вдруг доходит: так вон когда и как появились на Урале первые чипсы! Или говорит о старой привычке казаков-донцов звать старшее

поколение не «баба» и «дед», а «мама стара» и «тятя старый» – и ты вдруг вспоминаешь подобное из английского или немецкого. И мир разворачивается не только вглубь, но и вширь, являя тебе не только связь поколений, но и пресловутую нынче глобальность. Хотя кто сказал, что люди с развитым воображением не ощущали себя частью большого мира и до нашей поры?

Голубень-трава

«Сказки-побаски», найдись для них догадливый издатель, в руках обладающих тем же качеством продавцов, по-моему, вполне могут стать родительским бестселлером. А вот ещё одна ипостась семейного сказа-эпоса – поэма «Трава живая», которую Нина Буйносова посвятила памяти тех же бабушки Марии, матери Марины, её подруги тёти Маши и других односельчанок, – ждёт более усидчивого читателя, нежели подростки, для коих родители обычно книги и покупают. Хотя, уверен, умный и чуткий к родному поэтическому слову отрок тоже не откажет себе в удовольствии не только прикоснуться к искреннему и чистому рассказу о перипетиях жизни русской женщины в середине уже прошлого века, но и проследить за искусством рассказчицы.

А рассказчица совсем по Чехову представляет читателю в начале одёжку, по которой узнаёт на осеннем базаре давнюю материну товарку тётю Машу: «*Лето связано в пучки –// по двадцатчику за штуку.// Натрудившуюся руку// старой травницы беру.// Чёрный плюшевый жакет,// Как у мамы, сохранился…*» Не ружьё, конечно, да тоже деталь. Когда февральский буран сорвал с фермы крышу, семеро подруг-колхозниц спасли-выходили новорожденных телят, и такие модные в ту пору жакеты справил героиням расчувствовавшийся председатель. Да так и остались, похоже, эти обновы единственной за всю их жизнь официальной наградой.

И уже другое кольцо, что начинается со сцены банного мытья: «*…Ртом и телом – полной мерой –// Горьковатый плотный зной!// И обкачена по первой,// И обмыта – по второй…// И скамейка необъятна.// Щиплет щёлоком глаза.// И в ромашковой, и в мятной –// Косы моют в трёх тазах…*» А завершается – через годы: «*В водополье ли водицей// Жизнь прохлынула-сплыла?// …Скрипну старой половицей.// Нынче мама – легче птицы.// «Мам, я воду налила…»// …Без ромашки и без мяты// Мою маму – свой остатный// Долг давнишний отдаю…*» И теперь уже дочь возвращает матери её давний заговор: «С гуся-лебедя – вода!»…

А проходят через эти и другие кольца, свивая их в неразрывную цепь – травы. Ими тех же телят выпоили и сами от множества хвороб спасались. Множества – да не всех: деда Семёна от последствий германской газовой атаки не вылечили, и старшую дочь тёти Маши от дифтерита, и одного из двух её же сыновей от белокровия, наведённого радиоактивным следом аварии на ядерном комбинате «Маяк». И внучка́ этот след достал на излёте: «*Вот какое дело – нечем// Ладить парню ребятню.// Самоглавнейшая снасть// Потеряла силу-власть…*» Оценить таким образом ситуацию, сдобрив её интонацией солёного анекдота, могут и вечно хорохорящиеся мужики. А женщина мыслит иначе: «*…От негаданной напасти// Роду целому пропасть….*»

И всё-таки тому же взрыву «мирного» атома Нина Буйносова неожиданно находит беззлобное, совсем домашнее сравнение: «*…Так ухватит баба чайник,// Руку жжёт через платок,// Ну, и вымахнет, не чая,// На себя же кипяток…*» И пускай «*тяга кровная к земле*», дотоле не переводившаяся в роду, «*стала жухнуть, словно травы*», одноимённая трём близким автору женщинам голубень-трава Марийка, даже согнутая и измочаленная, продолжает жить. И «*нет народу переводу,// Коли травушка жива…*»

На водяных весах

Вода у Нины Буйносовой тоже живая – так она и назвала свою вторую поэму. И, словно женщина, эта околоплодная вода первобытного моря, из которого волею Творца вздыбилась суша, порождает жизнь. И в обильных водах тяжелеющего женского лона эта жизнь бьётся ключиком. И лебедь над водою, и осётр и кит по воде стремятся на Север к продолжению своего рода. Вода – крёстная мать Христа – расстилает перед ним морскую волну и становится Его кровью, и возносит Его на облаке, а в Крещение омывает тела тех, кто решается шагнуть в крестовую прорубь.

И всё так, покуда за дело не берётся человек. Тогда пиши пропало: усыхает Арал, вольные кобылицы рек стреноживаются путами плотин и утрачивают жизнь в отстойниках, а радиоактивное озеро Карачай пробивается подземными ходами в родники и колодцы. И автор, ощущая себя частицей мировой воды, «каплей крови из вены земной», вглядывается через окно в лунную ночь – и Луна представляется ей огромной лупой, в которую Всевышний исследует её…

Какая из чаш – с публицистикой или поэзией – здесь перевешивает, каждый из читателей волен решать сам. Возможно, планетный масштаб местами стоило уравнять глубиною микрокосмоса. Вода, женщина, животные, моря-озёра и сам Творец, становясь глобальными персонажами и ведя разговор друг с другом, побуждают желать чего-то малого, личного, сквозь которое, как в игольное ушко или маленький диоптр, стали бы различимее и отдалённые очертания. Но как бы то ни было, а в этой поэме автор, сохраняя гибкий народный лад, ярко демонстрирует свою причастность современности. Хотя, конечно, тот же Арал как символ человеческого надругательства над природой особенно было принято вспоминать на рубеже 1980-90-х.

Стихи нелёгкой мудрости

В связи с отсутствием датировки догадываться о времени написания приходится в отношении не только поэм, но и отдельных стихов, составивших четвертый раздел книги. Вот, похоже, из того периода, когда автор ощущала свою чуть ли не животную связь с природой и, описав полнящийся звуками нового приплода заснеженный лес, вдруг практически теми же красками рисовала человеческое логово: «*Двуногая самка уткнётся// Лбом в странный нетающий лёд//, И голый зверёныш проснётся,// К соскам нагрубевшим прильнёт.// И сон будет странно тревожен// У матки и сына её,// Пока их самец толстокожий// Готовит к охоте ружьё…*» А вот неожиданный отсыл к современным технологиям: «*Не на скрижалях – на дисках озёр// Пишет заветы нам Космос осенний…*»

Вот откровенно-сокровенное краткое обращение к любимому: «*Прильнуть к тебе.// Приткнуться у колен –// Вот всё, что у судьбы прошу и неба.// Чтоб вздрогнул ты –// И будто бы и не был// До этого мгновенья на земле…*» А рядом – квинтэссенция бабьего одиночества: «*Как во поле – четыре воли…// А четвёртая волюшка – горше всех,// Так ли горше – не вынести:// На два голоса песню одной вести…*» И следом – жажда снова почувствовать движение жизни: «*…Жить никак – это хуже всего…// Строньте кто-нибудь с места мой маятник,// Отпустите качаться его!*»

А вот – опять-таки неожиданный высокий взор на последнее предзимье: «*…Там, на разлюбленной Земле,// Поля дымы вздымают в Космос…*» И переживание ещё одной женской судьбы: «*…Голубиною судьбиной// Не случилось ворковать,// Не с желанным – с нелюбимым// Получилось вековать.//…Лишь когда рукой коснулась,// Чтоб глаза закрыть*

навек,// Не сама – рука очнулась:// «Ох, родимый человек…» И предчувствие, пришедшее на старой дороге: «*…Ни ограды кругом, ни колышка.// Здесь полынной душой из горлышка// Деревенечка истечёт…*» И осознание, как по-разному поют одну и ту же известную песню о милом в защитной гимнастёрке вдовы погибших солдат и дочери тех, кто вернулся с войны живым. И ощущение: «*…Гудят во мне те вдовьи судьбы,// Как в гулкой раковине – море…*»

А вот – о матери, что с самого раннего утра торопилась «наткать к зиме половиков», а потом расстелила своим детям недоспанные зори. И о другой женщине, что «*творила лёгкий хлеб на жарких кирпичах*», а в последний час «*Просила всё воды из дальнего ключа// И мягкого, сожми – и выпрямится, хлеба…*»

Но все эти избранные и разные стихи подспудно объединяет мотив мудрости – той самой, которая «*…тяжела// Сознанием невечности земного…*» За прозрачными крыльями стрекозы, в которую превратилась просто, как бельё, сменившая тело личинка, автору видятся «тысячелетья, прожитые разом».

…И что за стрежнем лет, за быстриной? –
Сказала б стрекоза, да не умеет.
На стебле голубые крылья греет
И ждёт меня у входа в мир иной…

И собственная душа представляется поэту пыльцой, которая подобна той, что жадно ждут цветы «*И слепо устья раскрывая,// Друг друга шарят по лицу,// Чтоб продолжалась плоть живая….*» И когда убогий бродяжка, присев на берегу, срежет дудочку – душа поэта пробежит по его сердцу «стайкою нот босоногих».

С такой же дудочкой где-то бродит по свету Лель – всё такой же молодой и дразнящий спелым яблоком новых девушек. А у поэта теперь из её собственного сада, прополотого и политого к ночи, тех же «*…яблок тёплые планеты// К ногам Создателя летят*». Однако она вовсе не спешит срывать с ветки последний плод, вместе с которым «*…сорвётся с ветки время,// И враз настанут холода*». И «чтобы душа не отлетела», держит ладонь у груди, глядя вперёд, где «*…Только небо, колея, да только Вечность,// Веткой голою задевшая меня…*».

2010 г.